

Геннадий

Песня Истукана



Калининград, 2011

УДК 82-1
ББК 84(2Р=Рус)6
Ю 96

ISBN 978-5-904895-20-4

*В оформлении книги использована графика
Сергея Калмыкова*

© Г. Юшко, текст, 2011 г.

© Калининградский ПЕН-центр, оформление, 2011 г.

УСЛЫШЬТЕ И – ОБРЯЩЕТЕ...

Наверное не надо удивляться, если, открыв книгу стихов, тебя унесёт, словно в половодье на льдине, – в зачарованную неизвестность... Да, именно так: и бурлящая бездна под ногами, схваченными последним холодом, и солнечное восторженное пламя, от которого закипает мозг.

Это – поэзия. Стихи, что вобрали в себя целую жизнь, не только их автора, но и земли, на которой соседствуют любовные восторги с усталым скрипом пилы на колымском лесоповале; где разговор с историческими лицами прерывается речитативом цыганского гадания и звоном гранёных стаканов. Где пробивающегося снеговым бездорожьём изыскателя будоражит мираж кликов журавлей, манящих в кофейни Стамбула, а затерянному в городской суете прохожему вдруг пахнёт духом сена и парного молока, отпитого когда-то из рук матушки... Россия. Восторг и -- боль. Шрамы памяти и морщины хохота. И тепло ладоней, согретых близким дыханием.

Геннадия Юшко природой дан не только талант сочинителя, но и судьба, позволившая, а порой – и заставляющая, жить с широко раскрытыми глазами и распахнутой душой, что вбирает в себя краски, звуки и шёпоты, улыбки и слёзы человека, встречаемые в пути. К чести поэта, он никогда не торопился печатать, порой вопреки ожида-

ниям и рекомендациям. Ибо – всегда сознавал ту ответственность за Слово, которая необходима художнику. Поэт всегда остаётся один на один со всем миром – вокруг и в себе. И две компоненты творчества – Слово и Память – открывают и читателю путь к созиданию, уже собственного бытия в космосе жизни.

Мне просто необходимо процитировать стихи, обращённые к другому страстотерпцу – Варламу Шаламову – спасённому и спасшемуся от ада – именно магией Слова:

Сдавили пальцы, как тиски,
блокнотов лагерных страницы,
я разрывал их на куски,
мелькали: судьбы, стужи, лица.

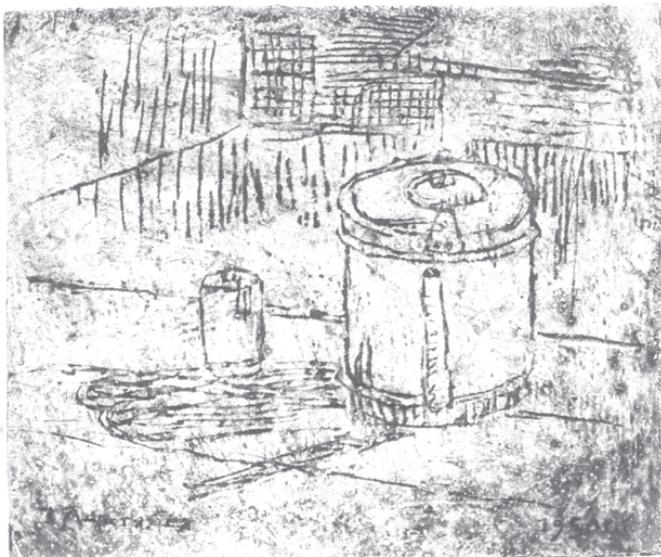
И навзничь падали слова
и ничего им – впереди,
и в доме, как на Покрова,
и я, как снег, кругом один.

Лежат недвижные глаголы,
оборван мною их полёт,
а за стеною радиола
о звёздной нежности поёт.

Книгу надо не просто читать, а стихи не только декламировать – необходимо впустить их в себя, как выпускаешь в дом замёрзшего друга, как радуешься тихому шёпоту любимой. Будто смотришь себе в глаза – наедине и всерьёз. И тогда ты становишься со-автором художника. И обладателем подаренного тебе мира – Поэзии.

Берите! – говорит художник. Увидьте – и виждете! Переболейте – чтобы быть здоровым... Читайте!

Вячеслав КАРПЕНКО



ДНО

Мельник

Вдали от лирики мажорной
многоголосой,
нараспев,
я зерна слов кладу на жернов,
чтоб хлебный отыскать запев.
И напрягаюсь по-воловы,
чтоб эта мельница
кружила,
и даже в самом малом слове,
чтоб хлебная
ходила жила.

Завал

Сивые лохмы тумана
ветер в полях разрывал.
В травах стою покаянно –
дум разгребаю завал.

Взгляд к небесам возвратился,
но

бороздой меж бровей,
старый завал уплотнился
думами о траве.

Самый длинный год

Дни в этот длинный год,
шипя, ползли по хате.
В подушках кислород
я персонально тратил.

Друзья бывали реже –
не мне судить о них –
я сам не меньше грешен,
пока не кликнет стих.

Весь год мне приходилось
с собой быть не в ладах:
то полымь, то вода.
Душа не прохудилась,
не то на все года –
беда.

* * *

Обломки разных инородных тел
в душе торчат, как следствие погрома.
Дорога, уведи к родному дому,
где ветер детства ворошил солому
и под стрехой по-дедовски кряхтел.

К шершавому дверному косяку
прижмусь щекой и вымолвлю:
– Здорово...

Подоит мама по утру корову,
нальет парного крынку «босяку».

Над молоком стоит густая пена,
в ней запах сена, хлева тёплый дух.
Душа, душа!

Ты недруг мой и друг,
и радость, и печаль одновременно.

Ровесники

Беду мы разом угадали –
два звонких клёна и пацан,
был месяц

гибели отца:

застыли

листья и медали.

Отцовский старенький пиджак
соседка перелицевала
и в узелок мой завязала
сухарь

шершавый,

как наждак.

И с этой ношей

немудрёной

я шел

недетскою тропой.

О чем молчали

мои клёны,

звenea листвою меж собой?

Дед

Стреляли в деда полицаи,
стонал июль в несжатой ржи,
а дед твердил:

– Внучок, лица им
заплаканного не кажи!

Ему умолкли жаворонки
и откружила речка Сож,
от дома черная воронка –
нет адреса для похоронки,
но деду кланяется

рожь.

Мне жизнь по деду выверять,
чтобы в своем последнем жите
без стога внукам смог сказать:

– Слезы

вражинам

не кажите!

Дорожное гадание

Взгляд цыганки ладонь изучил.
Помолчав, для порядка, немного,
изрекла она:

– Будет дорога,
да известие в поздней ночи.

Ах, цыганская правда вокзальная,
от известий ночных и дорог
я не первый, похоже, продрог,
нагадай что-нибудь колоссальное!

Нагадай мне, цыганка, рассвет,
да такой, чтоб хватило на всех,
чтобы стало светло на года –

нагадай!

А в глазах у цыганки тревога
и глубокая ночь,

и дорога.

Первая Любовь

Дождь проливался
себе проливной
небо качалось
себе под луной
кошка себе
напевала в трубе
я в это время
мечтал о тебе

Дождь прекратился
себе проливной
небо уснуло
себе под луной
кошка себе
замолчала
в трубе
не перестану
мечтать о тебе.

Детство

Солнце умывается ко сну.
В море умывается солнце.
Я бегу к морю.
Я беру в ладони море.
В море умывается солнце.
В моих ладонях умывается солнце.
Я подношу ладони к лицу,
стараясь не расплескать море,
не расплескать солнце.

Я не вытираю лицо.
Я спешу домой, к маме.
– Мама, у меня на лице солнце!
Мама улыбается.
У неё тоже на лице
солнце.

Мамин ветер

*Любимой внучке
Даше Юшко*

Я не верю в чудеса,
но когда ребенок маме
шепчет нежными устами:
«Я – твой ветер в волосах»,
то не думаю что чище
могут выдохнуть поэты,
я – хранитель слов, как нищий
перед детской фразой этой.
Перед шёпотом любви
глохнут песен голоса.
«Мама, только позови,
я – твой ветер в волосах!»

Вычитание

Нам время выдало кредит,
высчитывая ежечасно
и миг,
 потраченный напрасно,
и слово,
 если ерундит.

Кружится
 вечная
 рассрочка
системы четкой –
 вычитание:
за боль,
 за радость,
 за питание,
и за стихи,
 и за сорочки.

Но мы
 от этой строгой платы
не очень-то спешим
 смотреться,
и продолжаем
 вычитаться,
и этим,
 собственно,
 богаты.

Устройство троса

Я шел за упряжью собачьей,
за тракторами
топкой тундрой
туда,
где снег не пахнет
пудрой,
и одеялами –
тем паче.

Я изучал устройство троса
не в кабинетах,
не за партой,
его мне – трактора и нарты
втирали в кость руки
морозом.

И по лежневке,
и по насту
тянул,
тянул мой трос
упрямо,
случалось – застревал он в ямах
и петлями свивался
часто.

И от нагрузки бесконечной
ломались трени троса
хлётко!
Но – там, где дрогнула оплётка,
натужась,
выручал сердечник.

Филин

Прилетел в город филин
среди белого дня.

Псы, ощерясь, завыли.

Люди веки раскрыли.

Кто-то крикнул:

– Огня!

Прилетел издалече,
да свалился ничком.

Добивали картечью
раскалённых зрачков.

Столбовые дороги

Вдоль дорог – все столбы да столбы.
У столбов – все ветра да ветра.
И кивают с утра до утра
облаков тяжеленные лбы.

Столбовые заботы земли
то найдутся теплом,
то –
чугунны.

Стынет вдох в неподъёмной
дали,
а глаза –
луговые лагуны.

Мне тревожно идти и светло
вдоль столбов,
облаков
и рассветов.

Ах, как много
лугов
полегло!

Ветры, ветры
и ветры об этом.

Сосны осени

Напрасно, май,
меня манишь сиренью
и теплым солнцем кличешь понапрасну
я не приду,

и

в утра угол красный
весенним не вольюсь стихотворением.

У сосен осени

и

у ветров-бродяг,
что серым облакам меняют маски,
я выпросил – бунтующий варяг –
не языком – нутром – языческие краски.

Прохладные? Студеные?

Пускай!

Они мне потому

и ближе,

и дороже,

что пульс горячий

моего виска,

припав к тропе,

согреет подорожник.

Мне нынче время

отдавать тепло

тем,

кто любил

и кто сегодня любит.

А сосны осени, они – совсем как люди,
которых

солнце стороною обошло.

Настроение

Подоконник дождями набух,
вздулась крашенная древесина.
За окошком по-бабьи,

вслух

опадала листвой осина.

Ты о чем голосишь, деревцо?
Без тебя и дождливо, и хмуро.
Что же плещешь в окно,

сквозь лицо,

ты листвою своею каурой?

Может, ищешь защиты во мне,
от предзимнего злого ненастья,
или свет в одиноком окне
принимаешь

за отблески счастья?

Что ж,

входи. Отворю я фрамугу.

Разливайся печальным окрасом.

Что же я неприветливым часом
не иду ни к любимой,

ни к другу?

Долгий взгляд

Зрачки мои стали дном
с болотисто-гиблым илом.

Ты в них погрузилась,
но –
дно тебя отпустило.

Отделавшись лёгким испугом,
мой взгляд отряхнула старательно.
Твой правнук пройдётся лугом,
сорвёт василек.

Обязательно.

После слов

Наговорил.

Набрехал.

Накричал.

Вначале сделаю,

потом –

жалею.

Рубил словами

острыми

сплеча!

Рубил сушняк.

А вырубил –

аллею.

Теперь – поди – попробуй – исцели –
перебинтуй

цветами и травой.

Взглянул в себя: я зеркало слепое –
нет отраженья,

но оно

болит.

Задача

Навалилась со всех сторон
неприветливая тишина.
Вечерами косится луна,
будто ей от меня
урон.

Даже ветер
и тот отрешается
и не держит меня за плечи.
Вот задача! Решить –
да нечем...
... или к лучшему, что не решается.

Собачий ручей

Уже ни о чём говорить не желаю,
и даже просить не хочу
ни о чём.

Я нынче очнулся
глубоким ручьём,
собака напиться пыталась
незлая,
язык свой шершавый в меня запустив.
И жажде собачьей, как мог,
я – открылся.

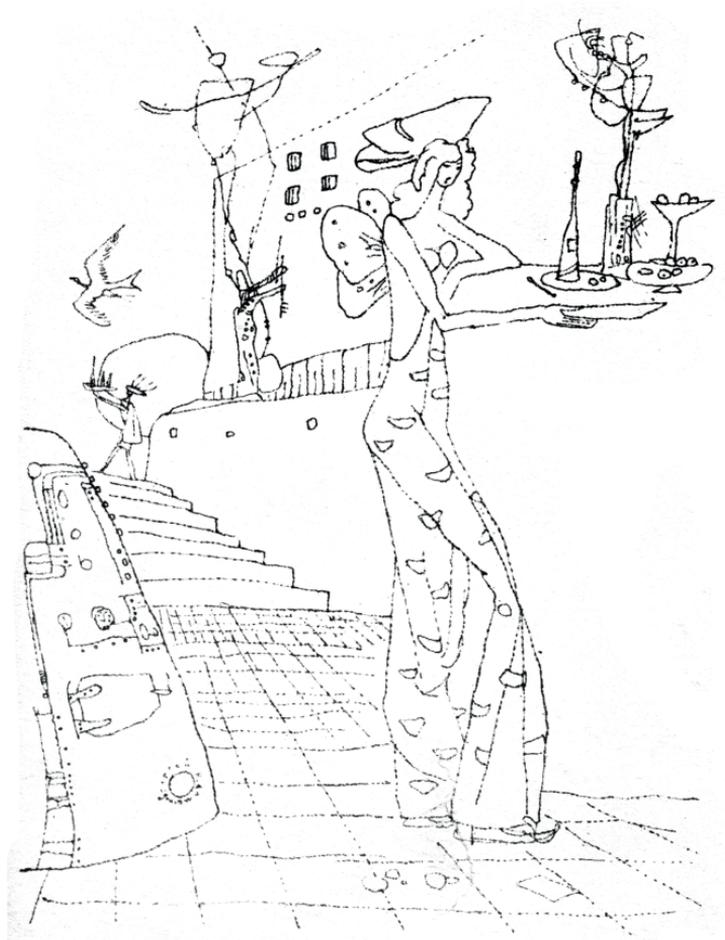
А пес,
налакавшись ручья,
загрустил

И в дно
удивлённо
глазищами впился.

Пауза

Мы вдвоём.
Третий – дождь.
Между нами
молчание камнем
улеглось
и
не сдвинуть его никому.

Мне пора уходить.
Дождь стучит и стучит.
Кто откроет ему?
Держит двери твой взгляд,
будто согнутый гвоздь.
Держит паузу дождь.
Ничего не пойму.



* * *

Выйду
с зарёю из дома
даже не знаю куда,
может
тревожного Дона
путь мне укажет
вода.

Может быть
вольная Волга
или мятежный Урал
примут меня ненадолго
с песней,
что я не украл.

С песней,
в которой Россия –
озеро
и жнивье,
каторжник
и мессия –
горе и счастье моё.

Буду Великой Державе
песни слагать и стихи.
Буду
в глубокой канаве
я целовать лопухи.

Только бы
выйти из дома,
только б
зарю не проспять,
только б тревожного Дона
воды не хлынули
вспять.

* * *

Травы в этом году наклонялись так низко
и от бурь тяжелее вздыхала земля.
Хорошо, что вы есть – наши зимы российские;
что приходите к нам,
боль дорог убеля.

Хорошо, что зимой отдыхают заливы.
Я вот тоже хотел ледяным стать
комком,
только дочки глаза – недоспелые сливы,
мягким светом меня согревали тайком.

Осенний вдох

Наверное в глаза попал песок –
спешил испить ручья,
но очутился в тине.

Вот над болотом неба колесо
мне недоступное отныне.

Теперь у каждого из нас

свои дела,

ему и без меня забот хватает:
чтобы Луна и Африка плыла...

...а дома мама ужин собрала.

Все ничего, но осень –

золотая...

Фотокарточка

Мой взгляд на стену набегал –
там дочка карточка висела.
И этот снимок чёрно-белый
уснуть мне долго не давал.

А ночью дочка мне приснилась –
играли в прятки, я искал.
Наутро смертная тоска
тяжёлым гнётом навалилась.

И в три погибели ломая,
живому душу вынимала.
Была тоска глухонемая.
А дочка карточка вздыхала.

Письмо читателя

Периодичной мишуры
беру снотворные пилюли.
Ах, как рифмуют гули-люли
нам переростки-школяры!

По рукотворной этой
наледи
скользит
читателя душа.

Стихов, как платьев,
до шиша,
красивы все,
да не в чем
на люди.

И потому зовет глубинка,
где всё знакомо наизусть,
где слов российских голубика
хранит есенинскую грусть.

Где по протокам бродит
бусел
и где,
с неведомой поры,
под переливчатые гусли
слагают
сказы
гусяры.

Медь и серебро

Скоро июль – догорает акация.
Слышится август – шепчутся клёны.
Скоро пойду коридором зелёным,
горсткой
рассветов
оставшихся
бряца.

Я раздавал их
без сожаления.
Многим
казались они
медяками,

но,
тем не менее, брали
руками
зорь недопетых мои сбережения.

Пусть им отпустится их недобро.
Знаю и верю,
однажды с рассветом,
кто-то,
собрал воедино монеты,
крикнет:
– Смотрите,
здесь есть серебро!

Росы в Симоново

Владимиру Фирсову

Из каменной Москвы в деревню
по Ярославскому шоссе
уйду

туда, где ветер дремлет,
по пояс утонув в росе.

Туда,

где царство Берендея,
и поселюсь в седой глуши,
и намолчусь,

и охладею,
и камни выйдут из души.

Первая скульптура

Врезается
в холодный
глинозем
тепло ладоней
формою кувшина
и пальцы продолжают вершиной,
а кисти начинают окаём.
Припав к кувшину
пил я молоко.
Как скульптор глину
поднял высоко!

Холодный этюд

Ветер февральский
гонит позёмку,
кашляя сипло,
как чахлая псина.
Мрачно.
Луну проглотили
потёмки.
Очередь у магазина.
Люди несут апельсины.
Холодно
и красиво.

Конь и Ворон

Вот и ты улетаешь куда-то,
мой единственный друг.
Хорошо, что рожден ты крылатым,
хорошо,
 что здесь небо вокруг.

Улетай, моя грустная птица!
Жаль, что я
 за тобой
 не могу,

Только ты
 не забудь возвратиться,
когда кости
 сложу на лугу.

Наша дружба
 крепка и жестока,
и её невозможно
 порвать,
если небо
 вольётся
 мне в око,
прилетишь ты его исклевать.

А когда опустеет глазница
и насытятся чрево твоё,
улетим,
 моя верная птица,
мы с тобою на небо
 вдвоём.

И

Опять тишина обалденная:
малина, кусты бузины...
и катится жизнь постепенная
вдоль, окон, дверей и луны.

В углу пианино старинное,
паук раскидал невода
и дни, и пустые и длинные,
и в мыслях одна ерунда.

И хочется взять каменюку,
и кинуть в окно – от души,
чтоб сердце оглохло от стука,
и петь,

и кричать,

и блажить.

И выйти за ветхую хату,
на плечи, взвалив пианино,
и Лунную грянуть сонату
кустам бузины и малины.

Без звука

На небе луна,
а на сердце –
тревога.
Большая. Большая,
как музыка Шнитке.
А может быть, время настало
итогов
и сердце слагает:
грехи и убытки?
Слагает:
забытые лица любимых
плюс
мыслей красивых
распятые тени,
и пляшут они на душе
пантомиму,
беззвучно меня обвиняя в измене.
Грехов не искупишь!
Потерь – не вернешь
хоть плачь,
хоть разбейся на громкие части.
Тускнеет луна,
как фамильная брошь –
одно украшеньё,
но нету
участья.

Не громкое

Пахнет море дождем и смородиной,
я ловлю этот запах густой,
ночь склонилась
над домом и Родиной,
и над жизнью моей
непростой.

В доме окна «крестом» заколочены
и морская вода
тяжела:
то повалится – в бездну обочина,
то под небо взлетает –
скала.

Я иду на лодчонке дощатой,
море рвёт этот крохотный
щит,
только разве оно виновато
в том, что жизнь
оборваться спешит.

Что над Родиной мгла
непролазная
и темно в моём доме
пустом,
и на дно опрокинулся разум,
лишь душа – как оконце
с крестом.

Осенняя вишня

Скоро
 утро вчерашнего дня –
на мгновение
 поднят занавес
исключительно
 для меня –
дню сегодняшнему
 на зависть.

Я отпил свою часть
 из чаши
и
 глаголами
 отшумел.
Я влюблялся порой,
 но чаще –
здесь –
 пробел.

Заполнял я его
 штормами
в кабаках
 откровенно-пошлых
и,
 конечно же,
 лгал я маме.

Хорошо,
 что теперь я
 в прошлом.

Был весёлым,
 случалось –
 скучным,

Последние журавли

Владимиру Фирсову

Не спешите ко мне, если солнце и синь,
приходите, когда ураганы,
и когда на душе лебеда и полынь,
приходите забыть свои раны.

Будем «горькую» пить,
будем свечи палить
и смеяться, как дети, до слёз;
будем в небо глядеть, как идут журавли
над тускнеющей охрой берёз.

Приходите ко мне и друзья и враги,
я для всех соберу угощенье,
вспомним Дикий Вилюй и Угрюмый Тагил,
и друг друга попросим прощенья.

За любовь,
за вражду,
за другие дела,
в чём виновны и даже невинны,
и за охру берёз,
что для нас отцвела,
и растаял нам след журавлиный.

Дно

*Памяти экипажа
АПЛ «Курск»*

Молчит.

Молчит морская гладь.

И я молчать могу.

Мне тоже нечего сказать

ни другу,

ни врагу.

Давным-давно простил врагов,

друзей простил давно.

У моря

нету берегов.

У моря только дно.

Молчит.

Молчит морская гладь.

Гляжу я

В глубину.

Мне тоже нечего сказать

на всю мою страну.

На все отечество мое

молчит морская гладь.

И я молчу.

Молчим вдвоём.

И

ничего сказать.

Баллада о янтаре

1

Стояли в соснах карие зрачки
и

вместе со смолой в волну стекали,
к ним не прилипли рыбные фекалии,
не умыкнули их моллюски и рачки:
сочился взгляд – живица янтара –
и встало солнце в нём на якоря.

2

Мне говорили:

в сорок шестом,
в стылые ночи и дни февраля,
печки топились сплошь янтарём,
и согревал он не хуже угля.

Кто-то

подбросив пригоршню камней,
грелся

у ставшего пламенем взора.

Плавились

давние солнца мгновенья –
чья-то минута

любви иль позора.

Без промедления

ухали в топку

выдохи,

вдохи,

смерти,

родины, -

круговращеньем людского потока
шло

насыщение холодины.

Солнце, смола и тепло человечье!
Море скрепило вас ласками, карами.
В сорок шестом приходили вы в печи,
Переливаясь взглядами карими.

3

Я смотрю сегодня на сосну –
будущую каплю янтаря –
может, в чью-то восхищённую весну
этот взгляд придёт из сентября.
Может, станут брошью или перстнем
души этих вот негромких строк
и
 через означенный им срок
из камней
 перельются в песню.

Будто калики перехожие

Разбредёмся

по городам

и по весям

будет каждому своя песня

и свои холода.

Разбредёмся,

друзья вчерашние,

потеряемся, как трава,

как зерно, что укрыться пашнею

не успело

до Покрова.

Потеряемся в мире этом –

ни серебряном, ни золотом,

как шекспировские сонеты...

не на кельтском – не то.

Потеряемся как фрески,

полинявшие за столетья,

и проститься

нам станет не с кем,

и на «здравствуй» ответить.

И никто о России не сложит

проникающий стих,

назовёмся: страна прохожих,

или хуже – чужих.

Соберёмся,

пока не поздно,

мы – хранители отчих слов,

чтоб от русского

стало звёздам

как от золота куполов.

* * *

Как низко ласточки летают,
наверно,
 скоро будет дождь,
и ты такая молодая,
и вся красивая
 как ложь.

Целуй меня,
 Целуй и лги,
и
 искусай до соли губы,
я буду ласковым
 и грубым,
чужим,
 забытым
 дорогим.

Я буду жаждать твоей лжи,
как одолжения надежды,
 как наготы,
что под одеждой
 неприкасаемо
 дрожит.

Ты вся красивая
 как ложь,
и вся такая молодая,
 и низко
ласточки летают,
наверно
 скоро будет дождь.

К морю

*Юрию Рысевиц,
моему брату*

Обними меня, море!
Крепче!

Обними
беспокойной волной.

Моей песне
в жилие человечьем
стало тихо
одной.

Стало тихо и даже –
пусто.

Или пел я
не в той октаве,
или
лучшие свои чувства
я на золото
переплавил?

Нет.

Стихов не менял на денюжку,
красных томиков
не настряпал –
я поэзию,
как девушку,
полюбил,
но не лапал.

И словес не искал атласных,
и штанов,
чередую
поступки гласные
с дном.

А когда
 мою жизнь штормило,
выворачивая потроха,
зубы стиснув,
 крепил я жилами
мачту
 будущего
 стиха.

И теперь,
 удаляясь от глади,
что зовется: жильё,
море! я к тебе
 «при параде»!
Поволнуемся
 и споём.

N

Если бы сейчас
ручьи
на лицо мое хлынули
и
утопили линии –
бездарные трещины
лет,
я полюбил бы женщину
с именем юным – Нина,
и сочинил бы стих ей
равных которому нет.
Не называя богиней,
плеснул бы
к её ногам
самое море синее,
на бледную зависть
богам.

Тебе

С. К.

Я тебя не отдам.
Я тебя никому не отдам.
Ты моя.

Ты ничья,
как дыханье ручья
или лезвие бритвы.
Пол-греха,
пол-молитвы.
Ты открытье и тайна.
Ты в апреле случайна.
Как в глазах твоих осень
качалась отчаянно,
так над чайкой
качается облако
с тайной жаждою
птичьего облика!

Я тебя не отдам.
Не отдам холодам и годам.
Ты мой грех,
Ты мой храм,
ты любовь
и
тревога.
Я и Богу тебя не отдам,
даже если ты выбрала
Бога!

* * *

Я хочу умереть на рассвете,
чтоб острее пронзила печаль,
от того, что мне больше не встретить
твоих глаз предвечернюю даль.

От того, что не будет заката,
и не глянет мне в око луна,
я хочу умереть виноватым
пред тобою, любовь и страна.

Я винюсь, что любил слишком много:
женщин, неба, полей и лугов,
я винюсь, что в дороге до Бога
растерял и друзей и врагов.

Я винюсь, что Есенин висит,
и что в Пушкине пуля гремучая,
я винюсь, что Россия могучая
сколько помнит себя –

голосит.

Я винюсь, что не смог рассказать
всё, что сердце, тревожась, скопило;
надо бы узелок завязать,
но рассвет уже красит стропила.

И пошли золотистые тени
и легли на уста, как печать,
я мучительно буду молчать,
головой уткнувшись в колени.



НИПРЕСНОЕ

* * *

Ночь.

Безмолвье.

Луна.

Остальное –

стена.

Остальное – стена или крик?

Крик,

лавинной заливший

глотку,

остальное мы топим

в водке,

сберегая лишь Божий Лик.

Как ликуют мои друзья!

Я люблюсь их ликованьем.

Утонула Луна в стакане,

и

стена превратилась в камни,

камни смяла трава.

Остальное –

слова.

* * *

У развалин Колизея
остановимся на час,
мы в развалины глазеем,
а они глазают в нас.

На меня дырою в древность
смотрит бывшее окно:
чья-то радость,
 чья-то ревность,
чья-то жизнь была давно...
незнакомая, чужая
я гляжу, – воображаю...

Слава.
Слава Цезарю! –
Зарезали.
Антонию слава!
Сам зарезался.
Слава Бруту!
Будто?
Слава,
 Слава,
словно шалава
бросается,
 мечется,
то в одном, то в другом
вчеловечится,
а потом кусает
обезумевшая борзая
и пеною брызжет.
Славу ненавижу.
Известность?...
 Безынтересно.

К Герцену

Листаю «Былое и Думы»,
Какие большие слова!

А люди
 всё больше угрюмы
и ниже
 моя голова.

Мы все
 отвратительно ввали
про Волю,
 про вечное Счастье,
мы целый народ обокрали,
и я,
 не скрываю,
 причастен.

Кого мы когда-то будили?
Давно никого на плоту.
Мы все
 словесами блудили,
мы выкрали даже
 Мечту.

Всё ниже
 моя голова
и люди
 всё больше угрюмы.
Какое
 былое и думы?
Слова это, только
 слова.

Земное

Человек живёт в бараке –
накипь века на стене –
за стеною

тоже накипь –
человек живёт в стране.

Не чужой, не посторонней:
тут родился,

тут помрет.

Человека похоронит
окружающий народ.

Тот,

кто из домишек тощих
на окраине судьбы,
кто,

познав беду на ощупь,
состраданье не забыл.

А в барак,

где жил сердечный,
в земляные этажи,
я заеду –

не на вечно,
на короткий срок –
на жизнь.

Над бараком синий космос –
близко-близко –

за Луной,
что глядит на землю косо,
повернувшись к нам
спиной.

* * *

Заплачу палачу,
 чтоб топор был острее.
Чтобы тоньше траншея на шее.
Он возьмет серебро,
 и добром за добро
мне оплатит палач топором.

15 Санта Фе 1939.

14



Тридцать седьмой

Играет мальчик на гобое,
а на дворе тридцать седьмой.
Над нами небо, но слепое.
На небе Бог. Глухонемой.

Жизнь прокатилась по касательной,
по большей части над болотом,
и голос мой покрылся патиной
за недосказанное что-то.

За невоспетые овраги
и пустыри, что возле сердца...
Они мой Воркутинский лагерь
и срок: вовек не отсидеться.

В них соловецкое отчаянье
и трюмы полные судеб,
и человечье одичание,
где в перемешку: кровь и хлеб.

Где люди превращались в тени,
где даже серый воробей
не протянул бы и мгновенья,
а смерть – спасенье от скорбей.

Но все же строили дороги
железные в «счастливый БАМ».
Сам Бог омыл бы ваши ноги,
когда бы побывал Он там!

Играет мальчик на гобое,
двадцатый век закончил дни,
и небо стало голубое.
Играет. Господи! Храни.

Один

Варламу Шаламову

Сдавили пальцы, как тиски,
блокнотов лагерных страницы,
я разрывал их на куски,
мелькали: судьбы, стужи, лица.

И навзничь падали слова
и ничего им – впереди,
и в доме как на Покрова,
и я, как снег, кругом один.

Лежат недвижные глаголы,
оборван мною их полет,
а за стеною радиола
о звёздной нежности поет.

Мотыльки

Я пальцем выводил полет мазурки
на лобовом продрогших «Жигулей»,
в которых брат катил меня из «дурки»,
верней, материю мою в страну полей.

В страну, где люди, может быть, не грубы
и души их, как небо, высоки,
и где, прижавшись к родовому срубам,
я матернусь, от рухнувшей тоски.

А за спиной остался дом эмоций.
Там рядом короли и менестрели,
и с тенью скрипки

вечно юный Моцарт,
состарившийся в жизни параллельной.

Серегга-фараон.

Его запеленали
рубахой жилистой с удавкой-рукавом.
Над коконом его всегда бессмертный Сталин –
на смерть зовёт в сраженьи роковом.

Студент рязанский с воспалёнными глазами,
уверовавший в то,

что он – Христос,
но в час распятия он сдавал экзамен,
к Пилату просится с гвоздями на допрос.

Учитель алгебры, застрявший в парадоксе
случайности рождения Земли,
ему бы кафедру, наверное, дал Оксфорд,
его сюда с урока привезли.

И школьник-Саня с перебитыми руками –
он отбивался ими от КамАЗа –
кружится и твердит, что люди схожи

с мотыльками,

одну и ту же радостную фразу.

Все на измене – верить тут нельзя:
пилатам, моцартам и сталиным,
и божеству, что грезит о гвоздях,
и математику опальному.

А по утрам, суровые, по трое,
врачи, как прокуроры, прут в палаты,
и юный бог рязанского покроя
дрожит и держит за руку Пилата.

А Моцарт,
скрипку в сторону отставив,
и, для надежности закрыв футляр,
шепнет бессмертному: – товарищ Сталин,
посторожи, последний экземпляр.

Днем
фараоны, моцарты, убийцы,
сжевав хлеба, конверты кротко лепят,
а медбратва откормленными лицами
на всех наводит тишину и трепет.

Да, мотыльками...

мысль ползла устало,
конверт не клеился, и на душе прогоркло.
Да мотыльками... как там у Шагала,
где васильки спускаются с пригорка?..

Я уезжал,
оставив глюков кодлу
и человек – божью инсталляцию –
туда, где брат с женой живет осёдло,
и где, быть может, научусь я улыбаться.

...Я раскрываю окна в доме отчем –
тут нету менестрелей, королей,

но иногда я всё же вижу очи
тех, кто остался за спиною «Жигулей».

Однажды встретил Моцарта на воле,
в джаз-банде

скрипкою сопровождал он блюз;
зашли в буфет и он, за алкоголем,
вздыхнув, промолвил:

– Умер Иисус.

Прости, Господь!

Что молимся мы мало
и не стараемся твоим подобьем стать,
но мотыльками васильки Шагала
когда-нибудь научатся летать.

Старик и поле

*Льву Николаевичу
Толстому*

Рука моя – костлявый посох,
и на плече висит сума,
в ней хлеба нет – одни вопросы,
тяжёлые. Сойдешь с ума.

Они мне камнем давят душу
и вытесняют благодать,
как будто целый Мир разрушен,
а новый

Бог забыл создать.

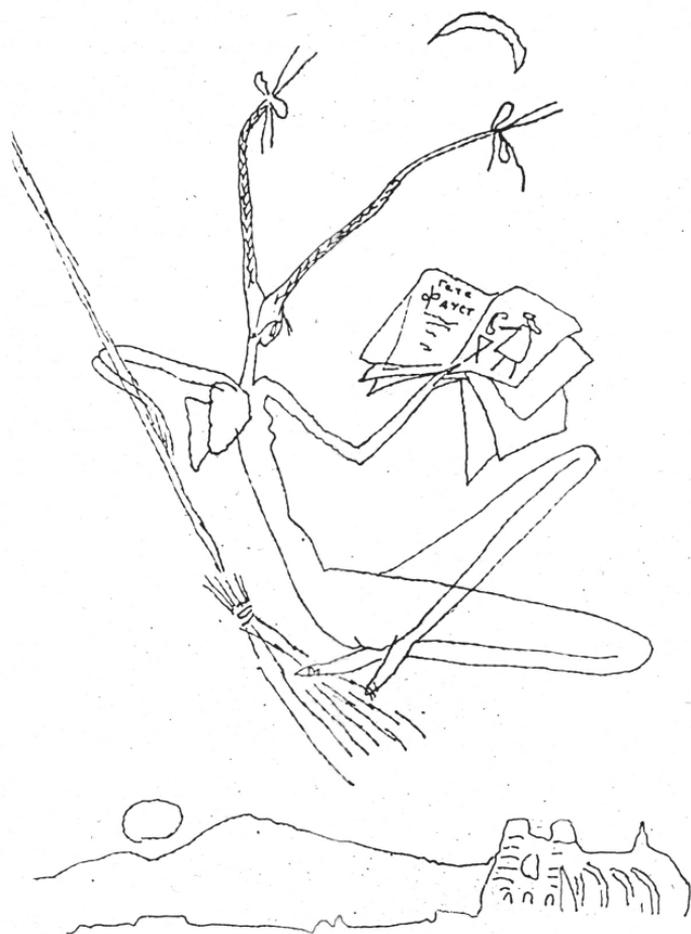
Иду по матушке-России,
ищу ответа у полей,
молчат задумчивые сини
и посох мой

всё тяжелей.

И я врастаю в эту землю
душой, распаханную вширь.
Ответы есть. Я им не внемлю.
Молчу,
слепец и поводырь.

Перевозчик

Я перевозчик,
но – не Харон.
Правлю челнок свой
в Замоскворечье,
где,
из когда-то весёлых скворечен,
тускло глазают
чада ворон.
Смотрят и думают:
вот повезло! –
близко к рубинам кремлёвским жилище
и –
это длительно, лет так «на тысячу» –
не догребёт перевозчик
веслом.
Ну а река? –
от начала времен
катится,
катится
неутомимо,
мимо
скворечен,
рубинов
и мимо
древних,
вчерашних
и новых ворон.



ПОЧТИ СМЕХ

Маша

(Мини-поэма)

Еще не цветок
но уже не бутон
повержен восток
красотой опьянен
от тела и взгляда
пора и на запад

На подиум ножку
заносит Мария
кругом эйфория
как от малярии
Париж Пьер Карден
мужики сражены
их слюни бессовестно
обнажены
а Машины очи
горят как софиты
и грудка открыта
и попка открыта
она знаменита
походка
как веслами лодка
бедро на излёте
все тело в работе
а мысли в заботе
куда заведёте

1

Один пожилой
господин
практически валокордин

пора бы уже
на причастье
но смотрит
на Машины части
что выше
чем ножка
и ниже
чем попа
попалась Европа
она на кукане
у будущей Мани
пока же машите
мошнами
рассыпчаты мани
как пшенная каша
для Маши
а дома в Рязани
есть папа и мама
есть бабка с вязаньем
и телика рама
с рекламой лозаньи
нарезанной прямо
на стенке красуется
дочино фото
ушла на работу

2

планета качается
на поворотах
трясёмся от рвоты
сдыхать не охота
а все же придется
кончается солнце
на всех не хватает

однажды растает
мы вышли из леса
летим к геркулесу
трясёмся
с надеждой
спасёмся
актёры
 козлы
 и повесы
паненки
 и паны
святоши
 путаны
попы
 и памфлеты
срамные куплеты
худые балеты
телеги
 наветы
до счастья билеты
и кабриолеты
летим
с ускореньем
9,8
все мнимое мимо
жалею лишь осень
мадамы и сэры
мы выпали
 с эры
романтиков милых
живые могилы
безгласые клипы
ослепшие типы
в полёте

членимся
на наших
 ненаших
а Маша

3

а Маша уже
рассекла океаны
и всюду желанна
меняет мужей
окруженье
бой-френдов
так надо
так *брендно*
так требует
 мода
такая работа
работа ногами
потупив глаза
и ждать содроганья
как дойки
 коза
и Машины
 мысли
как замыслы НАТО
чисты и каратны
и толерантны
сегодня успех
оглушительный
 завтра
второчены
 в мех
её очи

с фасада
а сзади
мотивы Саади
полёты фантазий
такую бы
 Разин
не кинул
 в волну
прекрасна
 к вину
для султанов
 и шейхов
а шейка
и даже
 для принцев
стареющих
 в Ниццах
почти импотентов
но ин-теллегент-ных

4

а дома
что дома
как сено-солома
бабуля
 всё вяжет
по старой
 привычке
отец
 на работу
спешит
 в электричке
по дому

забот
 до фи́га
и ма́ма слегла
по телику
 слу́хи
и стра́х
 про убивце́в
разогна́ны шлю́хи
показа́но
 в лица́х
и мы́льные
мы́льные филь́мы
а что же Росси́я
опя́ть
 выбира́ет
того́
 кто держа́ву
дотащи́т
 до ра́я
тащи́ть-то
 он бу́дет
бои́мся
 что бро́сит
поэто́му
 люди́
в извечном
 вопросе́
кому́ отдава́ть
 го́лоса
в Росси́и всегда́
 чудеса́
но жи́знь
 бу́дет кра́ше

5

но где же ты
Маша
в Милане ты
 нынче
гуляешь привычно
там люди милы
и давно
 симпатичны
там даже руины
отличны
 от наших
привет
 тебе
 Маша
ты так эпатажна
на глянце
 бумажном
журнала
 плейбой
где ты
 как ковбой
лишь лошадь
и шляпка
 с тобой
сидишь
 как
 актриса
пособием
 для онаниста

6

а дома
а дома зима
в Рязани она

не малиновый
руж
здесь ветер
в клубочек
закружит
от стуж
сапожки
из фетра
фасоны
до ветра
в России
зима
в России
мороз
такой
аж до слез
но было б
нелепо
расстаться
сейчас
ты Родины
слепок
ты вышла
из нас
кудрявой России
несёшь молоко
в своё далеко
туда
где Россини
писалось легко
где жил
Рафаэль
Леонардо

и Данте
и где
 календарь
был расчерчен
 на даты
где Господа меч
был в руках
 инквизиции
пускай все простится
включая
 нудистскую
оппозицию
и голенькой
 Маши
позицию

7

простимся
 весною
а может быть
 летом
неплохо б людьми
сохранится
 при этом
поэты
ведь тоже
живут
 нагишом
зато
 никогда
с палашом
простимся
 Мария

пока ты
 не Маня
пока
 на тебя
обращают
 вниманье
пока
 не состарилась
ты
 как Мальвина
простимся
 не длнно
еще
 до момента
покуда
 перо
не стало
 как пёрышко
в шляпе
 Пьеро.

Славная Баня

Святославу Хомичу

Апрельским утром ранним
летали кирпичи –
то Слава строил Баню,
чтоб париться в ночи.

Да чтоб из Бани – в речку,
а речку звали «Лава»,
парные человечки
ныряли бы на славу!

И чтоб душистый веник,
чинов не разбирая,
догнал до откровений,
как ангелов до Рая.

А после выпить чарку,
как наказал Суворов,
и разгорятся ярко
беседы-разговоры.

Немного о событиях,
но более: о бабах.

Затем –
уже в подпитии, –
гармошку взять
«не слабо»!

Споём о чём-то грустном,
о юности споём,
потом к высоким чувствам
мы водки подольём.

Потом, оставив чарки,
в парилку занырнём:

побанились как люди –
пора и за дела.

Весенние мечтания –
фантазии игра,
но Слава строит Баню
с утра и до утра.

Зажмурились мимозы –
осенняя пора.
уже слышней морозы
в ударах топора.

Но знаю: будет баня
зимой

или

весной.

Разденемся заранее.

Поддай,
народ честной!

Переходный период

Б.Т.

Мне соловей надрывистым фальцетом
орал, что не влюбился по весне,
и был Союз,

чтобы яснее: это –
снег, падая, немедленно краснел.

За ним чертополох бежал по нивам,
мой друг – он пахарь – но охоч до шлюх,
скупил в аптеке все презервативы,
надул их гелием и приторочил плуг.

И плуг задрался носом в облака.
На сдачу друг купил «норильских» акций,
но бизнес кончился обычной мастурбацией,
и вновь на плуг легла мозольная рука.

Потом опять чертополох бежал,
пел соловей,
забившись в бузину,
и сыпал снег на ржавый клык ножа,
и плуг один
краснел за всю страну.

Сказка, похожая на повесть

Январской тропой я шёл перелеском –
Сугробы, шатаюсь, цеплялись за пояс –
Хоть не было в них маскарадного блеска,
Но сказка уже надвигалась на повесть.

Я знаю – за лесом царевна и терем,
Бессмертный Кощей среди чахлах предметов.
А тут – Я – Иван – дурковат и потерян,
Но буду царём по народным приметам.

Кощею, конечно, я шею сверну,
Царевну спасу и возьму её в жёны,
А с нею – в наследство – большую страну,
И будем с народом гулять на казённые.

А снега сгущались, темнели как тучи,
И месяц щербатый, что бабушкин серп,
Повис на деревьях, как будто на случай,
Чтоб я от удачи своей не ослеп.

...Я к терему вышел: был домик высок
И выстроен ладно, почти современно,
Глазами я к окнам на башне присох
И ждал-поджидал появленья царевны.

Не знаю как долго, казалось – века.
Мучительно было моё нетерпенье –
Но, видно, такая судьба дурака –
И тут услышал я негромкое пенье.

Да, царство всё ближе. Кощейя запру.
Пусть видит, как рада Ивану царевна!
И будет вся жизнь моя, как на пиру, –
У нас дураки побеждают издревле.

Но тут заскрипела железная дверь,
И вышел Кощей в офигенном прикиде:
– Свою маету, дурачок, мне доверь,
Глядишь, и не будешь в накладе-обиде.

– Ты что, растуды-твою? – я спросил. –
Не надо твоих мне богатых сокровищ!
Царевна, небось, погибает без сил,
А ты мне про бабки хреновину порешь.

– Я биться пришёл! Покажи мне яйцо,
Где тухлая жизнь твоя теплится еле! –
Кощей показал его вместе с концом,
И стало совсем неуютно мне в теле.

А дальше – туманно... царевнины глазки...
Кощей надо мною... и вроде с лекарством...
И я, оклемавшись от жуткой потряски,
И думать забыл про комфорт и про царство.

С тех пор перестал доверяться приметам
И лес обхожу, озираясь с опаской:
А вдруг повстречаю Кощея с предметом? –
Не все хорошо завершаются сказки.

Стамбульское

Как долго-долго длится день,
как долго солнце не садится,
и обжигающая тень
вцепилась в улицы и лица.

Я в ресторане, под платаном,
пью кофе,

думаю о вечном...

Мелькнула юная путана
в прозрачном платье беспечном.

И я, с высоких размышлений,
на землю грешную спускаюсь,
ползу глазами по коленям,
горю желанием

и каюсь.

Жара дрожала, угасая,
к Стамбулу придвигался вечер.

И от платана тень косая,
и размышления о вечном.

Мечты-мечты

Куплю себе заморскую кобылу
и стану землю русскую пахать,
и будет лошадь
 охать и вздыхать,
но плуг тянуть
 натужно и уныло.

А захочу
 и без кобылы обойдусь.
Да не куплю её и – всё.
Пусть лучше это будет –
 гусь
и яйца золотые мне несёт.

Но если гусь
 мне надоест конкретно,
а золото? – гори оно огнём –
куплю лопату, чтобы беззаветно
копать,
 копать и думать
 ни о чём.

Концептуалу

Я перелистываю толстые тома
поэта-концептуалиста,
словарных слов в них – закрома,
листаю,
«Чижика» насвистывая.

Я знаю Чижик точно был,
он на Фонтанке был:
реально.
Из рюмок Чижик водку пил.
Конкретно пил.
Концептуально.

Его концепция проста:
забыть реальность на момент.
Теперь
от клюва
до хвоста
он – монумент.

Ирреальное

Прожгу в коленях брыжи,
рубаху надорву.

Представлю: по Парижу
гуляю наяву.

И вот я возле башни,
что Эйфель завинтил
брожу, как ангел падший,
немного во плоти.

Вхожу в любые спальни
как ловкий дон Жуан,
люблю почти реально
хоть знаю: всё – обман.

Париж. Влюбленность. Сена.
И ветер в голове,
и небо по колено,
не то, что на Неве.

А на Неве иначе:
литейный – тишина –
канатчикова дача
с решеткою окна.

Ещё реальней: песни
под сиплый патефон
и надо жить, хоть тресни,
до самых похорон.

В России только так

«...поэт в России больше, чем поэт»...

Е. Евтушенко

Дурак в России больше, чем дурак.
Дурак в России – это дуб в квадрате.
Пусть не кумир – всего объект симпатий,
зато всегда бывает кстати.

А как вы думали? В России – так.

Кузнец в России больше чем кузнец –
родной отец серпу и молоту,
блоху подковою снабдит от холода,
он – достояние – дороже золота.
Кузнец у нас – начало и конец.

Поэт в России больше, чем поэт.
Способен он собой затмить Державу,
зимою так озеленит дубраву,
что нас охватит гордость и получим Славу...
...Вот только, жаль, поэтов нынче нет.

Визит к Графоману

Люблю графоманов
по-пятницам –
по пятницам
я пью
покуда душа не закатится,
как солнышко
соловью.

Еще не завяли
розы,
срезанные
в среду,
я с ними
к писцу курносому
в пятницу:
еду.

Он встретит меня
с женою
и детворой румяной
и будут они
предо мною
свирепствовать
на фортепяно.

Потом,
заедаю паузы
печенью с имбирем,
Эфроновым Брокгаузовым
похвастант
словарем.

И Даль у них есть
и Ожегов,
и серия:
же-зе-эл.

Укутаться бы рогожею,
как сладко бы
похрапел.

Но
обещал внимать
сонмищу
его виршей,
тех,
где старушка мать
вяло стоит
под вишней,

и
утомилась мять
жухлые травы палкой...
Жалко мне
эту мать,
но и себя мне
жалко.

С неба летит окрас
словно
с линиялой птицы.
Пятница –
через час.
Можно успеть
напиться.

и

Алёнушка-девица
это всё на фоне неба
так красиво

аж нелепо

насмотреться

и напиться

или

сильно удавиться



СВЕТАЕТ. ПОРА МНЕ

Родина

Василию Аксёнову

И не бранили,
и не гнали прочь,
лишь вдоль очей, ворча, торчали вороны,
незрячие зрачки врезались в ночь.
Куда я шёл?

На все четыре стороны.

На все четыре
божьих и безбожных,
минуя
и хулу,
и аллилуйя,
слепой ковыль попутчик бездорожных,
петлял за мной,
вздыхая и ликуя.

И длилась ночь,
и ночь была черна.

Куда я шёл?

Не в Палестины
и не в Мекку –
на все четыре стороны –
страна,
в которой нету места человеку.

Но Родины судить я не берусь:
степной ковыль мне – царские покои.

Сомкнем стаканы
за Святую Русь,
в которой вечно
русичи
изгой!

Тверской Бульвар

Слева – Герцен.

Справа – МХАТы.

У меня есть территория.

Выше –

в позе виноватой –

Пушкин

бронзовый от славы.

Я гуляю по бульвару

поперёк

и вдоль скамеек

и Луна, со мной на пару,

ищет место

поскромнее.

Ищет

тихий закоулок,

чтобы отдохнуть чуток.

Спрячемся на час,

но гулок,

словно медный таз,

восток.

И

опять бульвар уютить,

и

ходить сюда-туда

по

столетьям

и

по лужам.

Ну

а Слава?... что вода.

Перспектива

Пищу о небесах.

В окне пересpektива:

пятиэтажка,

а за ней – рассвет.

Внизу вороны топчутся лениво,
как будто им на небе места

нет.

Такой расклад – не тусклый и не яркий –
жду солнца

нет ему прохода.

Воронам что?

Вороны каркают.

Стихи не пишутся уже почти полгода.

Зато с перспективой повезло:

за этажами

теплятся рассветы,

вороны каркают.

От них какое зло?

А небо и без нас

засвистано,

запето.

И
 завянешь, как былинка,
и
 погаснет ясный взор,
иль цыган холодной
 финкой
остановит
 твой позор.

Не ходи за полустанок,
в звонкий табор
 не ходи –
там
 цыганка
 с гибким
 станом
и монистой
 на груди.

Перелицовка

Убрали Ленина. Теперь часовня в сквере
и на скамейках с пивом молодёжь,
и я бреду, спокоен и уверен,
неторопливо, как балтийский дождь.

Тут хорошо: галдят на липах птахи
и ты, свободным небом осиян,
легко начальство посылаешь на хер
от имени великих россиян.

Теперь не надо
ни равняться и ни строится,
ни топать из бараков в коммунизм,
лишь в Крёстный Ход, на Пасху или Троицу
сольёшься с массами,
возвысив организм.

Подкатывает к сердцу теплота
и на неё никто не наступает,
и срок, что ты когда-то отмотал,
уже ушёл.

Осталась боль тупая.

Далёкая,
как воркутинский лагерь,
где вертухай откормлен, как Нарком,
и где на нарах люди-бедолаги
в бушлатах тощих с личным номерком.

Все позади:
и Ленин, и чекисты.
а впереди – часовенка с крестом
и с пивом молодёжь,
и липы с птичьим свистом,
и дождь, за мной
в капитализм бредущий
на постой.

Осень в Неринге

Сниму небольшую хижину
в осенней прохладе Неринги,
чтоб –
 ни чужих, ни ближних –
только немного берега.

Только немного счастья –
вслушиваться
 в шёпот дюн.

Чайки скрипят,
 как снасти
морем забытых шхун.

И
 никакого величия,
и массового гиганства –
И солнце
 такое личное
в осенней горсти
 пространства.

в Пушкарёвском
или на Сретенке
домик с челедью
не наладят.

И вдоль поезда,
без оваций
я пройду и спущусь
в метро,
чтоб
российской земли гравитацию
ощутить,
как своё нутро.

С Радиальной – на Кольцевую –
Баррикадная.
Выйду здесь.

И мороз меня расцелует.
Значит Родина ещё есть.

Море

Михаилу Хромакову

Износятся синие волны,
оглохнут раскаты прибоя
и

станешь ты

вечным и вольным
жильцом и владельцем покоя.

И будешь покорно и строго
хранить бесконечность времен,
и будешь ты

именем Бога
во времени этом пленён.

Пленён,

как молитва устами,
или набатом

медь,
но вечность молчать устанет
и вызволится –
шуметь.

И вновь тебе биться

прибоем,
тревожить песок и гранит,
и нет никакого покоя,
и вечность

никто не хранит.

Двустиише

Что лежишь, Орел Двуглавый?
Дремлешь в песенном плену.
В ореоле бывшей славы
ты проспишь свою страну.

И придут чужие люди,
и на нас напустят мор.
Птица, птица!

Кто пробудит
твой когда-то острый взор?

По Фирдуоси

Есть горы и горы
Есть горе и горе
В пыль горе песчаное
Растопчет горе-гора

Жану

Памяти сына

Стало тихо и пусто во мне
и в природе,
и никто не скандалит,
по утрам не глотает бузу,
Даже тучи притихли
и не
хороводят,
и ползут,
словно жабы –
на солнце погреться ползут.

Что-то сделать пора.
Может плетью ударить
скакуна!
Не седлая,
ети его мать! –
в дальний табор скакать
на призывы гитары
и певунье-смуглянке подолы измять!

И гулять.
Веселиться.
Смеяться навзрыд.
И на финках с цыганом сойтись
и –
оскалиться кровью,
и певунью умчать
под разрывы копыт,
и расправиться с жизнью,
захлебнувшись любовью.

Песня Истукана

Опустели поля,
и осенние острые грозы
исцарапали синь,
облака разорвав
на куски.

Возле неба стою.
Истуканом стою безголосым,
дополняя собою земную картину тоски.

Каменеет душа.
На куски бы
разбиться

и –
за молнией быстрой – во тьму,
чтобы там – в глубине –
недоступной
ни людям,
ни птицам,
свою лучшую песню
пропеть
никому.

* * *

Светает,
пора мне
в оконной
исчезнуть
раме
пока ещё
фиолетово
и никому
до этого.

Николай Рубцов

Ночь уже у окна, только
слишком светло,
так светло, что мурашки по телу
или столько сугробов за жизнь
намело,
что теперь даже мрак ослепительно белый.
Отойду от окна. Пусть поцарствует ночь,
чтоб её не рассеял
я песней случайной,
чтоб потом, как Есенин,
не выпрыгнул прочь,
отбиваясь от жизни отчаянно.

Отойду от окна.
Там крещенский мороз
и звезда в полынье леденеет,
Мне б окликнуть её,
но – уже безголос
и не властен я больше над нею.

Отойду.
Отойду
до начала веков –
это не далеко.
Подождите, я лампу включу...
... посвечу своему палачу

Кружится музыка помпезно,
но
танец скоро прекратится.
Спешит сюда за славой
поляк,
с медовой брагой на устах
и станут
панские застолья
шуметь,
шатая небеса.
И
вновь нахлынут перемены –
Опять
надвинутся тевтоны –
на сотни лет
речные
вены
запомнят человечьи стоны.
Потом
французские квадраты,
ломаю
пруссские ряды,
пройдут
во славу Бонапарта –
река размочит их следы.
А через век
над Кёнигсбергом
ощерит
свастика
штыки.
Мир
содрогнётся.

Свет померкнет.
И кровь
дойдёт до дна реки.
Но годы
смоют
мрак и чернь,
речные воды
посветлеют
и Звёздный Кант
порой вечерней
опять пройдёт
своей аллеей.

3

Давно нет замка Королей –
его
снесла
Страна
Советов –
но
город парков и аллей
совсем не радовало
это.

Никто
над временем
не властен:
рождались,
падали державы.
Всё быстротечно:
брызги счастья
и
вековые сгустки славы.

4

Река,
нахмурившись,
уснула.

На город
сумерки
легли.

Закат сторел.
Звезда мелькнула
и,
вздрагнув,
спряталась в дали.

Безмолвно
я стою у Канта.
Над прусским Прегелем стою.
Протяжно,
будто виновато,
колокола
к вечерне бьют.

Сегодня
в Кафедральном
месса,
но я
молиться не хочу.
Как трепетно Творец подвесил
над речкой
лунную свечу.

* * *

Куда-то ушли эпохальные лица.
А может
они отвернулись от нас?
Не знаю,
как долго всё это продлится –
столетие,
осень,
а может быть час.

Хочу убежать от безликой эпохи,
но дни,
как соседи,
меня стерегут.

Измерено все:
и улыбки,
и вздохи.

Сосчитано всё.
Остальное долгут.

Долгут
про высокие цены искусства,
про ширь
или высь
непролазных идей,
и станет душе продолжительно
пусто,
и места она не отыщет нигде.

Хочу убежать.
Только разве отпустят
опавшей листвы
зоровые сполохи,
соседские взгляды:
худые от грусти –
безликие взгляды – безлюдной эпохи.

Тень

повести

Вячеслава Карпенко

«Проклятие (Мороки)»

1. Сэдюк

Люди одежды носят,
Некоторые,

как успех.

Голою ходит осень,
голыми: дождь и снег.

Сузились звуки и тени
и погрузились в сон.

Шорох с тропы оленьей,
выдохшись,

сполз под уклон,

и, прижимаясь к насту,
замер,

как мёрзлый кол.

Филин

взглядом лупастым
по тишине провёл.

Рано устала осень.

Быстрые холода.

Будто и не было вовсе
осени никогда.

2. Исповедь Еремея

У кромки ручья – лёд.

В сопках совсем стыло.

Холод к земле жмёт

и залезает в жилы.

Тело своё грузное,
очень большое тело
вижу в санях тунгуса:
тихое. Отболело.
Значит Господь простёр
длани к нему и взгляд
или везут на костёр –
прямо с мороза в ад.
Мозг

встрепенулся от жути,
мысли
как липкие жабы.
Это шайтан мутит
мороком
разум мой слабый.

Золотом его застит,
роскошью
стен дворца.
Зазолотился заступ
в черепе отца.
В черепе, мной
разрубленном
будто кочан капусты.
Месяц пошёл на убыль...
Чтоб ему было пусто!

Филин на меня
Выпялил
око своё ледащее,
сердце,
ухая выпью,
заколотилось чаще.
Заколотилось по дому –
руки горят по локти –

за золотым ломом
очередь мёртвой плоти.

Явь и виденья
жёстко

сплелись.

Жажда извёсткой
с глотки сдирает слизь.

Сухо

во мне и в мире,
только Сэдюка бубен
с жизнью меня мирит
и с черепом, тем, разрубленным.

Валяются из карманов
будущие хоромы.
Вызволилось шаманом
сердце от Агди-грома.

Быстро устала осень.
Острые холода.
Только Сэдюк вовсе
устал навсегда.

Смехом Ремей потушил
исповедь свою тихую.
Будто всю боль и лихо
выплеснул из души.

3. Путь тени

По каменистому логу,
по кряжистому снегу
иду я
к тунгусскому Богу –
Альфё тайги и Омеге,
чтоб Духа племён Ухэлога

и пращуров Арапас,
как собственного Бога,
просить,
 чтобы спас
и разум вернул Еремею,
а выстрелы Тонкуля,
чтоб захлебнулись пулями
и онемели.

Просить, чтоб из лап амикана
вырвался Гарпанча,
и крепость его плеча
не раскрошила рана.
Чтоб был у него порох,
ружьё и кремень,
но главное – чтобы враг
не перешагнул его тень.

Чтоб выкинул слитки
 ржавые
алчный Иван-снохач,
чтоб баба его рожала,
радуясь
 сквозь плач.

Чтоб яркое время и тусклое –
оборотень – что ни день,
песни твоей тунгусской
не подменило тень.

Люди одежды холят,
души под ними тая.
Голая,
 как воля,
повесть твоя.

Весенний Холст

Сергею Погоняеву

Майский вечер плывет
и синь
с неба льётся прозрачным фоном,
чуть встревоженно стайка осин
по холмам побежала зелёным.

Птицы звонко весну поют,
пара ласточек домик лепит –
никаких в нём великолепий,
лишь согласие и уют.

Я бреду по картине этой
персонажем не очень уместным.
Для чего природе поэты –
неизвестно.

Разве, чтобы подставив зеркало
переполненных небом глаз,
расплескать,
пока не померкло
всё, что лучшее в нас.

Переполнившее нас море
прописных
и не писанных истин
или чувств,
что поэт на заборе
возвеличит малярной кистью.

А случится, сказать станет нечего,
пусть душа,
ошалев от пустот,
крылья сложит и синим вечером
в небо ласточкой
упадёт.

Людь

(триптих)

1

в морозный век
 под зов пилы
 рожусь

и вырасту
 и не
 сгожусь

потом
 натрезвуюсь
 напьюсь

и
 буду драться я за Русь
за душу
 и рубаху

и буду
 в жутких лагерях
смотреть
 как плавится заря
похожая
 на плаху

и буду
 временем казнён

потом
 в герои занесён

потом
 объявлен вором

я
 лепет
 трепет
 ворон

сам
 ВЫКЛЮЮ
 СВОИ ГЛАЗА
И
 ОТВЕЗУ ИХ
 НА ВОКЗАЛ
И
 КИНУ В ДЛИННЫЙ ПОЕЗД
И
 ПОКЛОНЮСЬ Я
 В ПОЯС
ВСЕМ
 ПАДШИМ
 ГРЕШНЫМ
И СВЯТЫМ
 ГЕРОЯМ И КАЛЕКАМ
И
 ПРОСТО ЧЕЛОВЕКАМ
И ПО ВАГОНАМ
 Я ПОЙДУ
И
 ПОДНИМУСЬ
 И УПАДУ
Я ПРАХ
 Я СТРАХ
 Я ТЛЕНЬЕ
И ВНОВЬ
 ИЗ ПЕПЛА ВОЗРОЖУСЬ
И
 ПРЕД ТОБОЙ
 Святая Русь
Я
 ВСТАНУ НА КОЛЕНИ

2

построю город
и
спалю
сожгу
разрушу
буду рад
на месте пепла
пекла
сад
красивый сад
вишнёвый
я высажу
полью
взращу
и под топор его
пущу
и порубаю
в щепки
всё
хрупко
ломко
тщётно
мы
поселяемся в грязи
там
где не надо
тормозим
где надо
катим мимо
паяцы
куклы
мимы

мы
не
необходимы

3

остались
только я и ты
сердца трещат от пустоты
шаги
секунды
мили
монеты
золото
алмаз
кому они
в последний раз
целуемся
и
в тартары
в руках
цветы и топоры
а в мозге
розы
розги
между собой
переплелись
и мимо нас
промчалась высь
созвездье
планеты
и
никого там
нету

НО
 ЭТО ПОСЛЕ
 а сейчас
ОДНО МГНОВЕНЬЕ
 есть у нас
ОДНО
 для целой сказки
И
 эта сказка
 о Земле
Господь
 копается в золе
все ангелы
 печальны
ОДИН
 играет на пиле
И ХОЛОДНО
 отчаянно

Рубль

застенчивый и грубый
слезливый и смешной
ходил по людям рубль
и потрясал мощной

он мог купить конфету
а лет за сто до нас
и лошадь и карету
и платье напоказ

мог поступить на службу
и мог проникнуть в тайны
и быть залогом дружбы
вельможи и путаны

нарядные картинки
попутчики судьбы
крещение и поминки
и свечи и гробы

и

идиотский хохот
и горести и плач
и торжество подвоха
и кривизну удач

в себя вобрал он прочно
он впитывался в кровь
и проклят был заочно
и возвышался вновь

хоть с виду не уродлив,
как барышня с веслом
испортил он народу
великое число

его считали ночью
он доводил до вышки
и рвали его в клочья
и прятали в кубышки
был властелином спора
отцов сынов и внуков
и на топор был скорый
и мастер на все руки
его пытались даже
однажды отменить
нодохлый и бумажный
он продолжает жить
дрожа в социализме
он коммунизм сломал
любые катаклизмы
переживёт хоть мал
а если поднатужится
сомнёт он даже фунт
и доллары откружатся
головкой глядя в грунт
хоть это все фантазии
но в сказках смысл имеется
ну а пока пусть в азии
наш рубль разогреется
и может бывшей «катеньке»
с протёртыми углами
банкирские фанатики
поклонятся как маме
и за одну российскую
но твёрдую монету
куплю коня рысистого
и платье и карету!

Разговор с забором

Стук костылей.

Горбыль с забора.

А

за забором – Храм.

Похоже Бог еще не скоро

наведается к нам.

Отдельно.

В мире все отдельно:

и ты, горбатый страж,

и

на кресте моем нательном

один

Спаситель наш.

Отдельна «млечная дорога»

от костылей моих,

и даже разговоры с Богом

у каждого

свои.

* * *

Листва покидает аллею
и я незаметно уйду,
а солнце на облаке млеет,
как яблоко в райском саду.

Не плохо.

Конечно не плохо
светить,
оставаясь в тени,
собой согревая эпоху,
и чьи-то невинные дни.

А я, поддаваясь искусам,
грешу по торжественным датам.
Прощенья прошу Иисуса,
сочувствуя в чем-то Пилату.

Взираю
на плоть Магдалины,
раскаивающуюся
манерно.

Наверно легко быть картиной?
Наверное.

Наверно легко быть прощённой,
у ангела
на крыле,
по трассе лететь освещённой,
любовников
кинув
во мгле.

Безгрешным, конечно же, легче –
Господь для них выстроил Рай

и птиц,
исключительно
певчих
собрал,
хоть сейчас помирай!

Конечно же, я сожалею,
что в Рай никогда не приду.
Но солнце на облаке млеет,
как яблоко в райском саду.

Каменщик

Грядет зима.
Уже пора
углом обзавестись,
но –
нету даже топора
хоть насмерть закрестись.
Зайти бы к Господу
на час
и пасть к Его ногам,
а может –
сократить рассказ
и одолжить наган.
Но время жить
и умирать
я выбирать не волен,
мне надо камни собирать,
раскиданные в поле.
Я должен складывать
года,
секунды и минуты
в одно огромное – всегда –
прекрасное
кому-то.

Содержание

Услышьте – и обряцете	3
Дно	5
Мельник	7
Завал	8
Ветер встревожил поляну...	9
Самый длинный год	10
Калина	11
Обломки разных инородных тел...	12
Ровесники	13
Дед	14
Перочинный ножик	15
Дорожное гадание	16
Сборщик слов	17
Первая любовь	18
Детство	19
Мамин ветер	20
Вычитание	21
Устройство троса	22
Филин	23
Авария	24
Столбовые дороги	25
Сосны осени	26
Настроение	27
Цель	28
Мы разные вещи...	29
Долгий взгляд	30
После слов	31
Задача	32
Собачий ручей	33
Рассказ	34
В компьютеры памяти чуткой...	35
Пауза	36
Автопортрет	38
Выйду с зарею из дома...	39
Травы в этом году...	40

Осенний вдох	41
Фотокарточка	42
Письмо читателя	43
Медь и серебро	44
Росы в Симоново	45
Первая скульптура	46
Холодный этюд	47
Конь и ворон	48
И	49
Без звука	50
Не громкое	51
Осенняя вишня	52
Последние журавли	54
Дно	55
Баллада о янтаре	56
Последняя навигация	58
Будто калики перехожие	60
Как низко ласточки летают...	61
К морю	62
N	64
Тебе	65
Я хочу умереть на рассвете...	66
Нипресное	67
Ночь. Безмолвье. Луна...	69
У развалин Колизея...	70
К Герцену	72
Земное	73
К Горькому	74
Нипресное	75
Заплачу палачу...	76
Тридцать седьмой	78
Один	79
Мотыльки	80
Старик и поле	83
Перевозчик	84
Почти смех	85
Маша	87

Славная баня	97
Переходный период	100
Сказка, похожая на повесть	101
Стамбульское	103
Мечты-мечты	104
Концептуалу	105
Ирреальное	106
В России только так	107
Визит к Графоману	108
Гамлет в России	110
Беспартийное	112
Светает. Пора мне	113
Родина	115
Тверской бульвар	116
Перспектива	117
Не ходи на полустанок...	118
Перелицовка	120
Осень в Неринге	121
Притяжение	122
Море	124
Двустиишие	125
По Фирдоуси	126
Жану	127
Песня Истукана	128
Светает. Пора мне...	129
Николай Рубцов	130
Река Канта	131
Куда-то ушли эпохальные лица ...	135
Тень	136
Весенний холст	140
Людь	141
Рубль	146
Разговор с забором	148
Пейзаж	149
Листва покидает аллею	150
Каменщик	152

Юшко Геннадий Артёмович
Песня Истукана
Стихи

Дизайн, верстка: Алексей Попов

Издательство и типография
Калининградского ПЕН-центра.
Печать цифровая.
Гарнитуры Minion Pro, Times New Roman.
Бумага офсетная.
Тираж: 500 экз.